

Л. А. Калинин

КАНТИАНСКИЕ МОТИВЫ
В «МЕДНОМ ВСАДНИКЕ»
А. С. ПУШКИНА

Посвящается
75-летию Б. В. Емельянова,
историка русской философии,
ее источниковеда и
историографа

Предпринимается попытка показать влияние на проблематику поэмы «Медный всадник» А. С. Пушкина не только эстетических идей И. Канта, но и Кантовых философии права и политики и философии истории.

This article attempts to demonstrate the influence of Kant's philosophy of law and politics and philosophy of history alongside his aesthetic ideas on "The Bronze Horseman" by A. Pushkin.

Ключевые слова: кантианство в праве и политике, кантианская философия истории, свобода личности, активность личности в творении своей судьбы, антиномии философии истории, их синтетическое разрешение.

Key words: Kantianism in law and politics, Kantian philosophy of history, personal freedom, personal activity in forming the destiny, antinomies in philosophy of history, synthetic resolution of antinomies.

«Петербургская повесть», как определил своеобразие этой поэмы сам А. С. Пушкин, – даже среди пушкинских шедевров явление исключительное, творение, где гений поэта и мыслителя проявил себя во всей своей зрелой полноте и художественном блеске. О неисчерпаемой многозначности поэмы сказаны проникновенные слова, что и было продемонстрировано критиками-философами и критиками-литературоведами в бесчисленных интерпретациях. Но необозримый смысл и есть необозримый смысл: ко всему, что уже сказано, можно добавлять нечто новое и не менее значимое, нисколько не страшась, что этим вычерпана будет бездонность смыслов.

Таким новым дополнением, я полагаю, и станет попытка показать наличие в «Медном всаднике» кантианских мотивов и их существенную для поэмы роль. Конечно, предлагая какие-то новые смыслы или оттенки смыслов хорошо изученного произведения, надо видеть угрозу толкования произвольного, беспочвенных и странных коннотативных сближений – всего того, чего в критической работе, при желании быть модно оригинальным во что бы то ни стало, достаточно¹. Хотелось бы такой оригинальности избежать.

Воздействие на А. С. Пушкина гениальных философских идей кёнигсбергского мыслителя по мере созревания пушкинского гения росло все более. Лицейская кантианская закваска выбродила уже к середине 1820-х годов, и зрелое творчество великого нашего поэта приобретает удивляющую и по силе пору почти никому не дающуюся идейную гармонию, органично естественный взгляд на мир и человека в нем. Полностью ли это качество мировоззрения автора «Медного всадника» является плодом влияния на него Канта? Конечно, нет. Но совершенно очевидно, что кантианству принадлежит в этой совершенной идейной гармонии не последнее место. В этой связи с большим удовлетворением отметил я проведенную с изящной афористичностью параллель между Кантом и его ролью в немецкой культуре и Пушкиным и пушкинской ролью в культуре русской, что развернута была Михаилом Эпштейном в статье, непосредственного отношения к

«Медному всаднику» не имеющей; он писал там: «Пушкин так же лишил русскую литературу ее докритической невинности и просветительского благодушия, как Кант – немецкую философию». – И продолжал чуть ниже: «Можно сказать, что французская революция, в лице Робеспьера и Наполеона, нанесла такой же удар по дорефлективной, догматически-наивной политике, как Кант – по догматической философии в Германии, а Пушкин – по догматической литературе в России» [15, с. 148–149]. Очень глубокое и очень важное сопоставление, структурный инвариант трансформации разных областей духовной культуры, до Эпштейна никем не замеченный. Поэтому, развивая данную параллель, можно сказать, что если Кант

¹ См., например, правомерные полемические замечания Г. Кнабе [7] в адрес Б. М. Гаспарова и интерпретации им «Медного всадника» в монографии «Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка» [2].

совершил свой *коперниканский переворот* в философии, то Пушкин перенес его принципы в русскую литературу и совершил в ней свой *кантианский переворот*, поскольку сделал ее такой же «насквозь философичной», какой оказалась литература немецкая «от Гёте до Т. Манна и Г. Гессе» [15, с. 147]. Кёнигсбергский профессор, превративший эстетику в науку философскую, пересотворил немецкую литературу, но он же, можно считать, пересотворил и литературу русскую, пересотворил опосредованно, оказав влияние на гений А. С. Пушкина. Подтверждение-поддержку этого утверждения можно найти у самого поэта: о своем отношении к философским идеям автора знаменитых «Критик...» Пушкин говорил неоднократно и по разным поводам. Особенно многозначителен тот факт, что свое понимание определяющего духовного воздействия кантианства на себя и друзей-лицеистов поэт нашел необходимым выразить в своеобразном усложненном перифразе, в котором использовал фигуру посредника, медиатора, стоящего между Кантом и лицеистами.

А. П. Куницын как кантианец и идеи «Медного всадника»

«Естественное право» Куницына — только «толкование и талантливое изложение Руссо и Канта».

Н. М. Коркунов [8]

Перифраз этот ситуативно-авторский, понятный для тех, к кому поэт обращается: он воспевает заслуги профессора-наставника, то есть имеет в виду то мировидение и мирочувствие, что передано учителем его воспитанникам, не называя это мировосприятие подлинным именем, под каким оно известно всякому хорошо образованному человеку с конца XVIII — начала XIX века:

Куницыну дань сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш пламень.
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена... [12, т. 2(2), с. 918].

«Чистая лампада возжена». — Как только задумается знакомый с Кантовой философией читатель над эпитетом «чистая», он в результате своих недолгих размышлений придет к выводу, что имеет дело с изящным перифразом Пушкина: ведь слово *чистый* (reinen) — важнейший *термин* философии Канта. Да, у него это слово несет терминологический смысл: *чистый* разум и просто разум — это разные разумы. *Чистый* теоретический разум; *чистый* практический разум; *чистое* созерцание, чувственность; *чистый* рассудок; *чистая* апперцепция; *чистые* идеи; *чистый*, то есть только морально мотивированный, поступок; *чистая*, или свободная, красота...

Без всех этих терминов просто нет кантианства. И конечно, «чистая лампада», «краеугольный камень» — это перифраз философии Канта. Воспользоваться им А. С. Пушкин был вынужден: попавший в опалу профессор — не юный дворянин Ленский с его гёттингентской душой.

Кантианские идеи лицейского профессора-наставника, которыми Александр Петрович Куницын пропитался за годы своего учения в Гёттингенском и Гейдельбергском университетах, особенно — в первом, стали со временем фундаментом в мировоззрении многих его воспитанников. Пушкинское поколение, опираясь на философию Канта, заинтересовалось и сумело оценить достоинства немецкого идеализма. В «Послании Дельвигу», например, Пушкин в иронической форме, чтобы избежать излишнего пафоса, отмечает широту духовных поисков друга-лицеиста:

Творенья Фихте и Платона,
Да два восточных лексикона
Под паутиною в углу
Лежали грудой на полу ... [12, т. 3, с. 69].

Но всякому, кто называет имя Фихте, не может не быть известна его полнейшая зависимость от Канта. К тому же приведенные имена двух философов говорят о серьезном философском профессионализме автора этих строк. Книги названы как бы между прочим, но далеко не случайно — в них зафиксированы две крайние мировоззренческие точки: Иоганн Готлиб Фихте — это носитель субъективного идеализма в его трансцендентальной форме, то есть максимально возможной предельной форме, а Платон представляет крайний объективный идеализм, а это означает, что в поле зрения Дельвига — весь мыслимый философский горизонт идеализма. Можно предполагать, что и два восточных лексикона не зря здесь упомянуты, так как в большой моде в 20-х годах XIX века оказался санскрит и начавшие издаваться «Веды» и «Упанишады», а также тексты веданты, в разных своих вариантах демонстрирующие тот же разброс философских идеалистических позиций. Если это действительно так, как я предполагаю, то философская осведомленность А. С. Пушкина поистине поразительна; но по-другому вряд ли обстоит дело: у зрелого поэта случайных строк просто нет.

Когда началось официальное гонение на носителей Кантовых идей (с конца 1810-х — начала 1820-х годов, а при Николае I еще более решительно удушающее), и А. П. Куницына в том числе, интерес к более основательному и самостоятельному изучению Канта был только подстегнут. Именно с этого

времени Пушкин начинает приобретать в личную библиотеку книги о философии Канта. Если в лицейские годы весьма произвольный набор *холодных мудрецов*: «Кант» вместе с «Сенекой» и «Тацитом» – мог быть сброшен под стол, чтобы их место заняли стаканы с вином («Пирующие студенты», 1814), то теперь книгам философа и трудам о нем принадлежит почетное место, чтобы они всегда были под рукой.

Вышеприведенные строки о Куницыне из стихотворения 1825 года «19 октября» не попали в канонический текст и остались в черновиках поэта. Пушкин не стал вставлять их в стихотворение из соображений не навредить и без того опальному профессору: перифраз все-таки достаточно прозрачен. Кстати, в 1836 году, когда А.П. Куницын все еще находился не у дел, в стихотворении «Была пора: наш праздник молодой...» поэт целесообразно напомнил о прежней близости ныне незаслуженно гонимого профессора царю (Александрю I):

Вы помните: когда возник лицей,
Как царь для нас открыл чертог
царицын,
И мы пришли. И встретил нас Куницын
Приветствием меж царственных гостей.

Николай I как личный цензор Пушкина должен был прочитать эти строки. Нельзя не восхититься рифмой *царицын – Куницын* среди настойчиво упоминаемых слов *царь, царственные* гости...

Еще задолго до декабрьского восстания, в 1822 году, на следующий же год после отставки Куницына, в «Послании цензору» поэт иронизировал над опасениями возглавляемого Д.П. Руничем «ученого комитета», созданного при реформированном усилиями реакционно настроенных царских политиков Министерстве духовных дел и народного просвещения:

Ты черным белое по прихоти зовешь:
Сатиру пасквилом, поэзию развратом,
Глас правды мятежом, Куницына Маратом. [12, т. 2, с. 238].

А.С. Пушкин готов разъяснить адресату послания, что А.П. Куницын, как истинный кантианец, был противником революций и убежденным сторонником проводимых сверху реформ, направленных к утверждению социальной справедливости, базирующейся на общечеловеческой морали. Не смешно ли видеть человека, который был прогрессивным, дельным и чрезвычайно полезным обществу и государству чиновником, вождем якобинцев? Но именно необходимость реформ и страшила консервативное окружение царя. Таким реакционерам, как Д.П. Рунич, как член того же комитета М.Л. Магницкий, кантианец Куницын казался опасным прежде всего проповедью свободы человека в качестве неотъемлемого естественного его свойства, проповедью самостоятельности, *самостоянья человека* как сущности, которого искони природа наделила разумом для того, чтобы самому мыслить и действовать, самому собою управлять и руководить. Д.П. Рунич в своем докладе «Комитету...» о книге А.П. Куницына «Право естественное» (ч. I-II. СПб., 1818–1820) писал, что «вся книга есть не что иное, как пространный кодекс прав, присвоенных какому-то естественному человеку, и определений, совершенно противоположных учению Св. Откровения. Везде *чистые* (курсив мой. – Л.К.) начала какого-то непогрешающего разума признаются единственною законною проверкой побуждений и деяний человеческих»². К нему присоединяется и М.Л. Магницкий в выражениях, еще более пугающих власти предрежащие: «...наука естественного права, сия метафизика прав и приделка к народному, публичному и положительному праву, есть изобретение неверия новейших времен Северной Германии. Она всегда была опасна; но когда Кант посадил в претор так называемый им *чистый* (снова этот опасный эпитет. – Л.К.) разум, который спросил истину Божию: что есть истина? И вышел вон; тогда наука естественного права сделалась умозрительною и полною системою всего того, что мы видели в революции французской на самом деле; опаснейшим подменом Евангельского Откровения...» [14, с. 225]. Это он, М.Л. Магницкий, назвал философию Канта «разрушительной», ибо согласно ей «*власть державная получает свое начало от народа*». – «...Справедливо устрасил нас в свое время сей нечестивый догмат Марата в проф. Куницыне...» [14, с. 227].

Те общественные силы, что стояли на стороне консервации социальных отношений в России и тем самым исподволь и загодя готовили, не осознавая того, будущее «восстание масс» в октябре 1917 года, естественно видели в А.П. Куницыне и других сторонниках социально-политических идей Канта *революционеров, возмутителей общества*. Из идей «Права естественного» совершенно *естественно* следовали антифеодальные, антикрепостнические выводы. Характеризуя социальную справедливость как основу права и равенство людей перед нормами права, вытекающими из природы человека, лицейский профессор писал, что «каждый человек внутренне свободен и зависит только от законов разума, а посему другие люди не должны употреблять его средством для своих целей» [9, с. 308].

² Цит. по кн. [14, с. 225].

Как соль растворяется в воде, так же идеи эти пропитывали сознание лицейских воспитанников профессора. Мысль о свободе и человеческом достоинстве, о природном равенстве людей и активной самостоятельности как условия, дающем право называться *человеком*, стала задушевной мыслью А.С. Пушкина, одной из главных идей поэта. И когда обращался он мысленно к своим лицейским годам и друзьям, начинала бурлить в нем кантианская закваска, вырываясь наружу не просто прекрасными стихами, а блестящими философскими афоризмами:

Вращается весь мир вокруг человека, –
Ужель один недвижим будет он?

(Была пора: наш праздник молодой... 1836)

Коперниканский переворот Канта, имеющий онтолого-гносеологический смысл, так как говорит о том, что не внешний мир определяет состояние человека, а сам он – этот мир – творится человеком, будучи наделяем теми формами, что соответствуют потребностям человека, А.С. Пушкин обращает на окостеневшее состояние родного народа, русского общества. Недвижим человек – мертвенно постоянен убогий мир. Вечно такое состояние продолжаться не может. Грядет взрыв, грядет страшный русский бунт. Всего два стиха, в которые провидчески заключена вся история России в XIX и XX веках. Два стиха – как яркое свидетельство плодотворного действия одного гения на другого.

Мысль о самостоянии, о свободной самостоятельности становится сущностным свойством не только сознания поэта, но сутью его личности, его поэтического самочувствия. Раздумья над судьбою рода Пушкиных, над его местом в судьбе страны, а той – в истории человечества, размышления о самом себе в родовой череде приводят Пушкина к правомерному выводу:

Они меня любить, лелеять учат
Не смертные, таинственные чувства,
И нас они науке первой учат –
Чтить самого себя.

(Еще одной высокой, важной песни... 1829)

Недаром в стихотворении «Поэту», обращаясь к самому себе, он пишет всем известные знаменательные строки:

Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.
Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить сумеешь ты свой труд.

Свободная и активная деятельность на благо самому себе – вот качества человека, решительно меняющие мир вокруг него. Без этих качеств, не имея мужества ставить и достигать свои цели, человек обречен в лучшем случае на прозябание, а в принципе – вообще обречен.

Именно эта идея, переданная от Канта через Куницына Пушкину, стала одним из важных смыслов «Медного всадника»: надо быть деятельным, активным, *свободным* человеком, уметь идти на риск, когда это необходимо... Идеалом такого человека стал для него Петр I. Но только ли царю надлежит быть таким? Не должно ли это же относиться и ко всем его подданным?

«Дяды» А. Мицкевича и «Медный всадник» А. Пушкина

У зодчих поговорка есть одна:
Рим создан человеческой рукою,
Венеция богами создана;
Но каждый согласился бы со мною,
Что Петербург построил сатана.

А. Мицкевич. Дяды

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий стройный вид, ...

А. Пушкин. Медный всадник

Связь между этими произведениями двух великих поэтов, откуда взяты эпитафии, давно уже стала предметом обстоятельных исследований. Инициировал их сам А.С. Пушкин. Хотя можно сказать, что Адам Мицкевич «Отрывком к части III» «Дядов» высек искру, воспламенившую давно готовый в Пушкине горючий материал, вызвал эхо – реализацию великого сюжета. Мысль А.С. Пушкина о нетерпимости, об опасности для России такого положения вещей, когда скована по рукам и ногам творческая активность подавляющего большинства ее граждан, прорываясь в стихах отдельными строчками, давно уже искала возможность быть

выражена художественно основательно, полно и с той силой воздействия на умы и души, которая доступна одному искусству.

«Дзяды» («Отрывок к части III») послужили как непосредственным поводом для написания «Медного всадника», так и причиной его явления в жизнь. Повод состоял в том, что в завершающей части отрывка из «Дзядов», в стихотворении «Русским друзьям», есть прямой личный выпад против Пушкина, получившего камер-юнкерский чин при дворе и поручение работать над историей Петра. Основанием для этого выпада послужило различие в оценке польского восстания 1830—1831 годов, подавленного русскими войсками. Мицкевич и сомневался в его успехе, и жаждал этого успеха. Сам принять участие в восстании он не сумел: пока добирался из Парижа, все уже было кончено. Но пушкинское отрицательное отношение к восстанию, его негативное отношение к общественному мнению Запада, настроенному против России, польский поэт воспринял раздраженно. Понять Пушкина и пушкинскую точку зрения, что восстание Польши вредит делу свободы не только польского, но и русского народов, Мицкевич не хотел.

Заключительные две строфы стихотворения «Русским друзьям» наносят Пушкину фехтовальный укол запрещенным среди благородных людей приемом, чтобы можно было не опасаться ответного удара:

Теперь всю боль и желчь, всю горечь дум моих
Спешу я вылить в мир из этой скорбной чаши.
Слезами родины пускай язвит мой стих,
Пусть, разъедавая, жжет — не вас, но цепи ваши.

А если кто из вас ответит мне хулой,
Я лишь одно скажу: так лает пес дворовый
И рвется искушать, любя ошейник свой,
Те руки, что ярмо сорвать с него готовы.

А. Мицкевич. Дзяды [11, т. 2, с. 274].

Пушкин, конечно, отреагировал на это стихотворением «Он между нами жил...», главная мысль которого в том, что *времена грядущие*,

Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся,

стихами, *напоаемыми ядом* и призывающими к бунту, только отодвигаются в еще более далекое будущее. Личную обиду он пережил и подавил в себе. Все личное было устранено, ответ Пушкина нес в себе высшую правду. Он видел, что Мицкевич глубоко осознает главную беду России в подавленно-безличном состоянии народа, его апатии, в привычке к такому состоянию и приятии его высшими сословиями как абсолютно естественного. Эта идея Мицкевича, задевшая открытую рану самого Пушкина, и стала причиной явления в свет пушкинского шедевра. В центральном стихотворении «Отрывок к части III» под названием «Смотр войска» Мицкевич приводит потрясающую историю о денщике, который в студеною зимнюю русскую ночь, карауля офицерскую барскую шубу, к утру замерз, превратился в ледяную статую, пока господин его преспокойно развлекался на балу. Мицкевич заканчивает эту историю словами:

Терпенью слуг российских нет предела:
Велят сидеть — не встанет никогда
И досидит до страшного суда.
.....
Такая смерть, терпение такое —
Геройство пса, но, право, не людское.

А. Мицкевич. Дзяды [11, т. 2, с. 267].

Признание правоты Мицкевича в этом главном вопросе русской жизни мирило с ним Пушкина. В этом была и его собственная застарелая боль. Но Мицкевич, помимо этого, презрительно отнесся к России как стране варварской, стоящей на пути европейских народов к прогрессу и вечно обреченной оставаться таковой. С крайне пессимистическими, крайне односторонними выводами, которые делал польский поэт относительно и настоящего, и, особенно, будущего России, Пушкин согласиться не мог. Для Мицкевича, прожившего в России более пяти лет и знавшего Москву, Петербург, Одессу, бывшего с русским радушием принятым в широко известные салоны, вращавшегося в светских и интеллигентских кругах двух столиц, страна эта —

Чужая, глухая, нагая страна —
Бела, как пустая страница, она.

И даже избы русские — удивительнейшее техническое изобретение народного гения — описывает он так, как будто никогда не переступал их порога:

А вот — что-то странное: кучи стволов,

Свезли их сюда, топором обтесали,
Сложили как стены, приладили кров,
И стали в них жить, и домами назвали.

.....
Стоят эти срубы, и в каждом живут,
И все это городом важно зовут.

А. Мицкевич. Дзяды [11, т. 2, с. 240–241].

Вовсе не случайно, видимо, Пушкин, одновременно с «Медным всадником» работавший над этнографическим очерком «Путешествие из Москвы в Петербург» (1833–1835), один из разделов его посвящает русской избе, так его и называя. В нем он отмечает, что со времени путешествия А. Н. Радищева (вполне возможно, что именно на него опирался Мицкевич) прошло много времени и что если не конструктивно, то во многих элементах избы значительно изменились: «ничто так не похоже на русскую деревню в 1662 году, как русская деревня в 1833 году» [13, с. 1372]. И отмечая эти изменения, а заодно характеризуя и самого русского человека, русского *крестьянина*, он не без гордости пишет: «В России нет человека, который бы не имел своего *собственного* жилища. Нищий, уходя скитаться по миру, оставляет *свою* избу. Этого нет в чужих краях. Иметь корову везде в Европе есть знак роскоши; у нас не иметь коровы есть знак ужасной бедности» [13, с. 1379]³.

Что же говорить о людях, живущих в таких условиях?

Но вот, наконец, повстречались мне люди,
Их шеи крепки, и могучи их груди.
Как зверь, как природа полных краев,
Тут каждый и свеж, и силен, и здоров.
И только их лица подобны доньне
Земле их — пустынной и дикой равнине.

А. Мицкевич. Дзяды [11, т. 2, с. 274].

Как были, так и остаются *варварами* люди этой страны, чуждой не только Западу, но и Востоку.

Особенно резкий протест вызывала у Пушкина оценка Мицкевичем деятельности Петра I: раздраженно-несправедливая картина Петербурга и его пригородных дворцов, само наличие которого опровергает сказанное о стране выше; характеристика всех реформ Петра как бутафорских —

Умыл, побрил, одел в мундир холопа,
Снабдил ружьем, намуштровал, -
И в удивленье ахнула Европа:
«Царь Петр Россию цивилизовал!»

А. Мицкевич. Смотр войска [11, т. 2, с. 260].

как не имеющих внутреннего смысла, не направленных хотя бы к какой-то цели, не то что к высшей, а потому и не достигших ни малейшего результата:

Царь Петр коня не укротил уздой.
Во весь опор летит скакун литой,
Топча людей, куда-то буйно рвется,
Смегает все, не зная, где предел.
Одним прыжком на край скалы взлетел,
Вот-вот он рухнет вниз и разобьется.
Но век прошел — стоит он, как стоял.

А. Мицкевич. Памятник Петру Великому [11, т. 2, с. 253].

Благодаря Петру Великому Россия оказалась обряженной в *ханжеские* одежды, но под бутафорским покровом неколебимо покоится извечная для этих краев дикость — утверждает Мицкевич. Он называет деяния Петра I сатанинскими; свет, в котором император хотел, чтоб виделась Россия, — лишь люциферический свет, лишь внешне страна стремилась казаться миру *цивилизованной*, в реальности оставаясь прежней.

³ Невольно вспоминаются строчки другого, на две трети века более позднего поэта:

Рассудок, свиной рыльи комик,
Порою скажет в зовы зорь,
Что лучше деревянный домик,
Чем эта каменная хворь.
А. Белый. Искуситель [1, с. 321].

Сейчас, конечно, не первая треть XIX века — гордиться перед Европой было бы нечем.

Назвать все это соответствующим истине было невозможно. Подобный взгляд на Петра Великого и его роль в истории страны, столь безрадостный прогноз относительно будущего России был антитезой пушкинскому, и он ответил Мицкевичу, отставив в сторону все личное, обдуманно, взвешенно, хладнокровно — «Медным всадником».

Эстетическая тональность «Медного всадника» и теория возвышенного у Канта

...Все, что природа как предмет [внешних] чувств имеет для нас великого, считать малым в сравнении с идеями разума — это для нас закон (разума) и относится к нашему назначению:...

И. Кант. Аналитика возвышенного

Одна из важнейших особенностей поэмы «Медный всадник» заключается во взаимопроникновении формы и содержания — таком, что форма поэмы и есть ее содержание, а ее содержание — ее форма. Особенность эта обязана ее общему плану. Очень часто приводятся афористические изречения А. С. Пушкина относительно плана Дантова «Ада», относительно «высшей смелости художника в охвате обширного плана единой творческой мыслью у таких гениев, как Шекспир, Мильтон, Гёте ...» [13, с. 1292—1299]. Именно таков и план «Медного всадника», выросший из «Аналитики возвышенного» как части «Критики способности суждения». А. С. Пушкин изучил этот Кантов трактат основательно, о чем свидетельствуют его идеи, выраженные в подготовке работы «О народной драме и драме Погодина "Марфа Посадница"». Здесь он писал: «Между тем как эстетика со времен Канта и Лессинга развита с такой ясностью и обширностью, мы все еще остаемся при понятиях тяжелого педанта Готшпеда...» [13, с. 1342].

Мною уже была предпринята попытка показать, что общий план трагедии «Моцарт и Сальери» органически связан с тем же самым текстом Канта — с его теорией гения как приложением к «Аналитике возвышенного» [3, с. 138—171]. Явно относясь к «Критике способности суждения», Пушкин в работе «О народной драме...» писал: «Правдоподобие все еще полагается главным условием и основанием драматического искусства. Что если докажут нам, что и самая сущность драматического искусства именно исключает правдоподобие?» [13, с. 1342].

Всеохватная мысль, задающая высшее единство произведению искусства, — это всегда мысль философская, обращающаяся к мировоззрению. *Гений Пушкина претворил основную мысль эстетики возвышенного Канта в фундаментальное положение философии истории*: возвышенное как эстетическое чувство органически связано с героическим усилием, героическим деянием. Он уловил эту интенцию системы Канта, где возвышенное — это прежде всего эстетическая оценка нравственных деяний человека, из которых и складывается история человечества. Возвышенна суть человеческого разума, а разум — направляющее начало истории. Как бы ни высмеивали эту двойную связь иррационалисты, она обладает достоинством факта — упрямостью, постоянством. Потому что достоинство человека — в его разуме; расти и утверждаться оно может только благодаря разуму.

Природа же разума таится в нашей способности никогда не удовлетворяться действительностью, даже если может показаться, что она вполне сносна, а стремиться к более идеальной возможности, к трансформации действительного мира в направлении мира возможного совершенства. Действительность дана чувству и рассудку, возможность более совершенного будущего — только разуму. Кант настойчиво повторяет, что чувство возвышенного укоренено в разуме, в его идеях. Рассудка для возвышенного недостаточно. Оно кроется в способности разума превзойти любую наперед заданную воображением с помощью рассудка меру, сколь бы грандиозной, ужасающей, в столбняк повергающей она ни была: «...возвышенно то, одна возможность мысли о чем уже доказывает способность души, превышающую всякий масштаб [внешних] чувств» [4, с. 257].

Конечно, мрачная и холодная дикость и явная нелюдимость природы севера Балтики страшит человеческую душу, гнетет ее обещанием тяжелейших испытаний и сомнений в своих силах. Разыгравшееся воображение рисует взбешенное море и Неву как одно неудержимое поглощающее всё целое, и только *тьма над бездною*, над мертвой, саму себя рвущей в клочья водою. Однако как бы ни расширялось воображение, самые максимальные его силы все же несоразмерны идеям разума, способного выводить нас за пределы явлений любых масштабов, коли даются они чувствами. Кант писал, что «чувство возвышенного в природе есть уважение к нашему собственному назначению, оказываемое нами объекту природы посредством некоторой подстановки (смешиваем уважение к объекту с уважением к идее человечества в нашем субъекте, т.е. осознаем себя как носителей сил и возможностей *человечества* в сколь угодно далеком будущем. — Л. К.); этот объект делает для нас как бы наглядным превосходство основанного на разуме назначения наших познавательных способностей над максимальной способностью чувственности» [4, с. 265]. Это-то превосходство и превращает чувство страха, расслабляющий и лишающий сил ужас в чувство возвышенного, рождающего внутреннее удовлетворение, своеобразное удовольствие от осознания своей способности преодолеть любое природное препятствие. «В самом деле, — развивает свою идею Кант, — удовольствие касается здесь

лишь обнаруживающегося в таких случаях *назначения* нашей способности, так как задатки ее имеются в нашей природе, в то время как развитие и упражнение ее предоставляется нам и возлагается на нас. *И в этом заключается истина, как бы ни осознавал человек, если только его рефлексия доходит до этого предела, свое действительное бессилие в настоящем*» (выделение мое. — Л. К.) [4, с. 270].

На этом противопоставлении рассудка — разуму, рассудка, согласованного с внешним чувством, — разуму, побуждающему к действию продуктивное воображение, и построил свою поэму А. С. Пушкин. Это и есть *гениальность плана*, охваченного единой мыслью, нашедшего опору в *гениальной* философской теории. Мицкевич, опираясь на свой рассудок и полностью заблокировав присущий ему разум, нарисовал в «Дзядях» *безнадежно мрачную сатиру* на Россию и ее будущее. Именно таков по жанру «Отрывок к части III». Пушкин же, соглашаясь с той картиной реальности, что рисуется рассудку Мицкевича, реальность изобразил такой, какой предстает она, когда сознание не усечено, не редуцировано, а действует как целое, использует все свои потенции и среди них самую свою драгоценную способность — способность разума. «Медный всадник» получился *дифирамбически-драматической поэмой*, о которой словами поэта можно сказать, что жанр ее — «отсутствие всяких правил, но не всякого искусства. Интерес — единство» [13, с. 1288], единство «творческой мысли».

Настоящему противостоит будущее, наличному — куда более благоприятное возможное, при условии, если каждый будет столь же героически деятелен, каким был Петр Великий, творец, деятельность которого Пушкин сопоставлял с Божьим творчеством мира: его деяния лишь кажутся бранными, однако устремлены они — к бессмертию. И вряд ли не сопоставлял сам Петр себя с апостолом Христа, называя сотворенный им город Санкт-Петербургом?

Развивая это противостояние «Отрывок к части III» «Дзядов» и «Медного всадника», необходимо отметить, что стихотворение «Петербург» Адама Мицкевича играет в его творении кульминационную роль. В нем польский поэт утверждает, что на месте Петербурга как царило мрачное холодное море, так вечно и будет, что нормального городского поселения здесь просто не может быть и что каприз тирана кончится ничем, все вернется на круги своя. Он очень удивлен и разочарован, что «век прошел — стоит он как стоял» — слова, непосредственно относящиеся к бронзовому Петру, а через него к Санкт-Петербургу. Назначение Петербурга — угроза Европе, источник вечной варварской агрессии.

Кульминационные моменты творения Мицкевича Пушкин помещает в самое начало *экспозиции* — первые строки «Вступления» к «Медному всаднику», — давая почти дословную параллель Мицкевичевой *кульминации*:

... широко
Река неслася; бедный челн
По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел.

Картина, эта — даже еще не начало великого города, но он уже существует — в разуме героя. И прошедший век не миновал даром:

Прошло сто лет, и юный град.
Полночных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи благодат
Вознесся пышно, горделиво...

И развивая свое «Вступление», поэт решает в нем свой спор с Мицкевичем: уже сейчас Петербург стоит среди лесов и болот как оплот цивилизации, как носитель облагораживания дикой природы. Стихия природы еще страшна и могуча, спор человека с ней далеко еще не закончен. Но, наделенный разумом, человек уверен, что с любой, как бы ни была она трудна, проблемой человек-деятель, человек-творец справится.

Не менее страшна и опасна, нежели стихия природы, и стихия межчеловеческих отношений. Петербург должен противостоять и нашествиям с Запада, быть неприступной крепостью, прикрывающей собою страну, быть предостережением врагам:

Отсель грозить мы будем шведу.

Недаром наводнение Пушкин сравнивает с военным нападением, завершившимся вражеской атакой, перешедшей в погром и грабеж, но в конце концов захлебнувшейся, отбитой. Победа над природой — это условие победы над врагами. Для Петра это были шведы, но он умел глядеть в будущее, и предвидение его оправдалось полностью. Героическая оборона Ленинграда — это же

великий памятник Петру, воздвигнутый гражданами города Петра в его честь. И если бронзовый монумент установила Katarina Secunda, то этот памятник — всенародный.

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия.
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия;
Вражду и плен старинный свой
Пусть волны финские забудут
И тщетной злобою не будут
Тревожить вечный сон Петра!

Пора такая еще и сейчас не пришла, однако разум говорит нам, что — придет! Великий наш поэт и верил в разум, и воспевал его.

**Героическое и обыденное:
конфликт со стихией, властью или самим собой?**

Не люди, нет, то царь среди болот
Стал и сказал: «Тут строиться мы будем!»
И заложил империи оплот,
Себе столицу, но не город людям.

А. Мицкевич. Петербург

Все должно творить в этой России...

А. Пушкин. Только революционная голова...

До предела прост сюжет «петербургской повести»: столкнулись две несоизмеримых силы: герой, вершитель истории, и маленький петербургский клерк, коломенский чиновник, обычный петербургский житель с его обыденными житейскими интересами. Пушкин принимает расстановку сил, заданную Мицкевичем: Петербург — царская резиденция, столица, но не город для рядовой рутинной жизни людей. Если это так, то конфликт между государственной властью и населением неизбежен, он таковым и воспринимается читателями. Насколько правомерно? — это еще вопрос. «Воля героя и восстание первобытной стихии в природе — наводнение, бушующее у подножия Медного всадника; воля героя и такое же восстание первобытной стихии в сердце человеческом — вызов, брошенный в лицо герою одним из бесчисленных, обреченных на погибель этой волей, — вот смысл поэмы» [10, с. 512], — писал Д.С. Мережковский в книге «Вечные спутники», как бы принимая, поначалу, предложенную логику конфликта. Развертывая этот смысл, обнажая его, он риторически вопрошает: «Но если в слабом сердце ничтожнейшего из ничтожных — "дрожащей твари", вышедшей из праха, — в простой любви его откроется бездна, не меньшая той, из которой родилась воля героя? Что, если червь земли возмутится против своего Бога? Неужели жалкие угрозы безумца достигнут до медного сердца гиганта и заставят его содрогнуться? Так стоят они вечно друг против друга — малый и великий. Кто сильнее, кто победит? Нигде в русской литературе два мировых начала не сходились в таком страшном столкновении:

... он мрачно стал
Пред горделивым истуканом —
И, зубы стиснув, пальцы сжав,
Как обуянный силой черной —
«Добро, строитель чудотворный!» -
Шепнул он, злобно задрожав, -
«Ужо тебе!»... И вдруг стремглав
Бежать пустился...

Смиренный сам ужаснулся своего дерзновения, той глубины возмущения, которая открылась в его сердце. Но вызов брошен. Суд малого над великим произнесен: «Добро, строитель чудотворный!... Ужо тебе!...» — это значит: мы, слабые, малые, равные, идем на тебя, Великий, мы еще будем бороться с тобой, и как знать — кто победит?» [10, с. 513].

Я вновь, как и во введении, процитирую слова М. Эпштейна, вполне созвучные Мережковскому, в которых сконцентрирована суть традиционного понимания и толкования «Медного всадника»: «...Пушкин в русской литературе по существу сыграл едва ли не ту же основополагающую роль, что и Кант — в немецкой философии. Пушкин разграничил две правды — личности и истории, человека и государства, утверждая неоспоримость каждой из них в ее собственной сфере. Весь пафос "Медного всадника" и "Капитанской дочки" — в сосуществовании и несводимости этих двух правд: Петра и Евгения, Пугачева и Гринева. До Пушкина вся русская литература носила как бы докритический, дорефлексивный характер, с просветительской наивностью отождествляя задачи личности и законы общества» [15, с. 148]. Все точно, все правильно, на первый взгляд, в этих и аналогичных этим словах:

констатация М. Эпштейна, так же как и Д. Мережковского, повторяется в десятках вариаций. Но есть в них некая недоговоренность, не удовлетворяющая разум, заставляющая его вновь и вновь сопоставлять эти *две правды*, поскольку любая из них ущербна. Художественная идея поэмы полнее, глубже. Она не останавливается на констатации *двух правд*. Она заставляет искать *одну* правду. Да, разум, согласно Канту, антиномичен, он с необходимостью, свойственной его природе, рождает антиномии во всех областях — и в философии, в философии истории в том числе. Здесь объявляют себя две правды в бесчисленных их вариациях. Текст пушкинской поэмы содержит в себе две группы таких антиномий. Первая их группа представляет передний план поэмы, выражающей противостояние «Дзядов» и «Медного всадника», Адама Мицкевича и Александра Пушкина. Авансцена поэмы, конкретный ее нерв, раскрывается в двух антиномиях, выявляемых в живых, предстающих перед взором читателя образах прекрасного рукотворного города и распыления, растворения и поглощения его бушующей природной стихией, образах благодатного мира и гибельного, разрушительной бессмысленности войны. Тезисы этих антиномий рождены точкой зрения Мицкевича, а пушкинская точка зрения предстает из антитезисов.

Тезис — Петербург нежизнеспособен.

Антитезис — Петербург столь же вечен, как сама вечность.

Тезис — у России нет будущего.

Антитезис — у России есть будущее. И великое будущее.

Однако А.С. Пушкин не ограничивается мыслью о неколебимости России и незыблемости Петербурга. Проблематика поэмы много шире и глубже, устремляется к смыслам философским. Тезисы русским поэтом не отвергаются а *limine*, они им осознаются и учитываются; но ему важны глубинные причины исторических событий, возможности на эти причинные рычаги воздействовать, чтобы вернее достичь желанной цели. Без учета деструктивных сил, выраженных в тезисах данных конкретных антиномий, вряд ли эта цель достижима.

Опираясь на опыт европейской философской мысли, в том числе на философию права, политики и истории Канта, А.С. Пушкин расширяет конкретный ряд антиномий до столкновения социоцентрических и антропологических идей, выливающих во вторую группу антиномий, которых в этой группе три:

Тезис — общество определяет и задает все свойства составляющих его людей.

Антитезис — люди определяют и задают все свойства обществу.

Тезис — гражданин является средством в тисках государства.

Антитезис — государство есть средство саморазвития гражданина.

Тезис — государство и общество есть конечная цель составляющих его людей.

Антитезис — государство и общество не есть конечная цель составляющих его людей, это люди есть конечная абсолютная цель государства и общества.

В определенной мере как тезисы, так и антитезисы этих абстрактных антиномий скоррелированы с соответствующими тезисами и антитезисами конкретных антиномий. Противоречащие друг другу суждения абстрактных антиномий, обнаруживающие себя в пушкинском «Медном всаднике», не исключают известной односторонности, которая всегда свойственна образующим антиномии суждениям. Они играют роль общественных идеалов⁴, в своем односторонне чистом виде нигде и никогда в истории не могущих быть реализованными. Эти идеалы вместе с Кантом разделяет и Пушкин. Однако это не *окончательная* теоретическая позиция ни Канта, ни Пушкина.

Стремясь проникнуть в суть вещей, разум не может не упрощать их в процессе своего анализа. Он обязан отыскать предельно простые противоположные тенденции, диктующие вещам способ их бытия, форму их явления в мире. К антиномиям разум приходит с необходимостью, если этот разум последовательно строг.

Однако разум не может и не должен этим ограничиваться. Поиск антиномий и фиксация их не есть последняя его задача. Таковой задачей является видение их *действительного синтеза* и того *результата, что из этого синтеза вытекает*. Однако процесс этот дается нам прошедшим через сознание художника, его ценностный мир накладывает свою печать на их — антиномий — состояние, предоставляя возможность видеть больше, чем может зафиксировать добросовестный наблюдатель-социолог. «В самом деле, — писал Кант, — что касается научного [содержания] в каждом искусстве, направленного на *истину* в изображении объекта искусства, то оно, правда, необходимое условие (*conditio sine qua non*) изящных искусств, но не само искусство» [4, с. 377]. Те *две правды*, о которых говорится обычно применительно к «Медному всаднику» и которые представлены в виде тезисов и антитезисов наших антиномий, не являются *внезаходимыми* друг относительно друга. Они образуют реальное целое, взаимодействуют как две силы, приложенные к одной общей точке, но не в прямо противоположном направлении. Взаимодействие

⁴ Кант отмечал, что «следует... всегда принять в соображение некий идеал, который искусство должно иметь перед глазами, хотя в своей деятельности оно никогда полностью не достигает его» [4, с. 377].

Евгения и Петра Великого, опосредованное Медным всадником, можно сравнить с обратимым контрапунктом: на встречном смысловом движении противостояния героев рождается смысл поэмы.

Мысль, постоянно звучащая из уст кантианца Куницына: человек самой своей человеческой природой призван к активной деятельности, к творчеству своей судьбы и судьбы мира, – положена А.С. Пушкиным в основание этой *петербургской повести*. Петр Великий достоин с этой точки зрения своей человеческой сути и стати. Предельным напряжением своих моральных и физических сил, побудив к тому же и целое государство, Петр сумел обеспечить России будущее. После него надо много постараться, чтобы погасить полученный от него исторический импульс. Историческая ситуация начала царствования, да и всего его хода, чрезвычайно напоминает наводнение –

... место, где потоп играл.
Где волны хищные толпились,
Бунтуя злобно вокруг него...

Волны внешние и внутренние – балтийские и невские – схлестнулись, чтобы герой, а вместе с ним и страна утонули. Но не тут-то было...

О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте уздой железной
Россию поднял на дыбы.

И приходится констатировать, что *век прошел – стоит он как стоял*. История не сумела поглотить Россию. Точно так же и невская вода могла бы и не поглотить Парашу, окажись Евгений властелином *своей* и ее судьбы. Но ему не хватило мужества, не было в его распоряжении деятельной воли. Сыграла свою роль привычка к пассивности, терпению, к покорности судьбе, те качества, которые отметил в народе русском Адам Мицкевич. Внешние обстоятельства Евгению не препятствовали проявить активность, сразиться с силами природы, он человек свободный, не крепостной, да и это в данном случае не было бы препятствием. Но... не хватило силы характера. Он тут прямой антипод Петра. Он вытерпел выпавшее ему испытание, отсидевшись на каменном льве, и, видимо, решил, что вытерпит его и Параша, что все образуется само собой.

Петр I сам лично бывал в ситуациях, в какой оказался пушкинский Евгений, но никогда не надеялся он на русский *авось*, а вмешивался в ход событий и, часто вопреки вероятности, добивался успеха. В.О. Ключевский приводит такой эпизод. «В июле 1714 г., за несколько дней до победы при Гангуте, крейсируя с своей⁵ эскадрой между Гельсингфорсом и Аландскими островами, он был в темную ночь застигнут страшною бурей. Все пришли в отчаяние, не зная, где берег. Петр с несколькими матросами бросился в шлюпку, не слушая офицеров, которые на коленях умоляли его не подвергать себя такой опасности, сам взялся за руль в борьбе с волнами, встряхнул опускавших руки гребцов грозным окриком: "Чего боитесь? Царя везете! С нами Бог!", благополучно достиг берега, развел огонь, чтобы показать путь эскадре, согрел сбитнем полумертвых гребцов, а сам, весь мокрый, лег и, покрывшись парусиной, заснул у костра под деревом» [6, с. 406]. Этот и аналогичные поступки Петра привлекали к себе внимание А.С. Пушкина. В «Истории Петра», представляющей собой «подготовительные тексты» к большому труду о Петре I, этот эпизод не остался незамеченным; по его поводу Пушкин записал: «29-го авг. ревельские военные корабли соединились с Петром. Петр перешел на корабль СВ. Екатерины. 31 между Кроншлотом и Березовыми островами сделалась буря; 1-го сентября усилилась (см. Журнал Петра Великого). Венецианский историк говорит, что Петр сел на шлюпку и в самую ночь переехал на Березовые острова, дабы, дав оттоле сигнал, ободрить своих людей (*невероятно*)»⁶ [13, с. 1072]. Но есть запись о совершенно таком же эпизоде, происшедшем десятью годами позже (в 1724 году), уже без скептически-восторженной пометы. Она сообщает, что «5 ноября Петр на яхте своей прибыл в П.Б. и, не приставая к берегу, поехал на *Лахту*, думая посетить Систербетские заводы.

Перед вечером Петр туда пристал. Погода была бурная, смеркалось. Вдруг в версте от Лахты увидел он идущий от Кронштадта бот, наполненный солдатами и матросами. Он был в крайней опасности, и скоро его бросило на мель.

Петр послал на помощь шлюпку, но люди не могли стащить судна. Петр гневался, не вытерпел – и поехал сам. Шлюпка за отмелью не могла на несколько шагов приблизиться к боту. Петр выскочил и шел по пояс в воде, своими руками помогая тащить судно» [13, с. 1119]⁷.

Столь разительно отлично поведение двух героев «Медного всадника», что автор поэмы может быть на стороне лишь одного из них. И мне не кажется убедительным суждение В.К. Кантора, который называет Евгения из «Медного всадника» «самым любимым героем» Пушкина, «трагедию которого он

⁵ Здесь и далее в цитатах сохранена орфография и пунктуация оригинала.

⁶ Пушкин А.С. История Петра [13, с. 1072].

⁷ Событие это у Пушкина отнесено ко времени после Гангутской победы, а у Ключевского предшествует этой победе и не вызывает сомнений.

увидел и воспел» [5, с. 405], «беспорным наследником петровского дела» [5, с. 112]. Владимиру Кантору кажется, что Евгений — труженик, подобный в этом Петру; однако внимательно в его слова, которыми Евгений наделен Пушкиным, вдумаясь:

Но долго он заснуть не мог
В волнении разных размышлений.
О чем же думал он? о том,
Что был он беден, что трудом
Он должен был себе доставить
И независимость, и честь;
Что мог бы Бог ему прибавить
Ума и денег. Что ведь есть
Такие праздные счастливы,
Ума недалежного ленивы,
Которым жизнь куда легка!

Не ясно ли из этих слов, что трудиться он просто вынужден и будь хоть чуть счастливее, мог бы жить подобно этим ленивцам. Человек петровского устроения никогда не стал бы желать прибавления себе ума, не отказываясь, пожалуй, от денег... Можно ли сказать, что Евгений... *мыслил*? Нет, конечно. Он думал, размышлял на уровне рассудка, резонно названного Андреем Белым *свинорылым комиком*. Разум, важнейшую суть которого выражает моральный закон, в такого рода размышлениях не участвует, а только при его посредстве и можно мыслить. В трагической ситуации, в которой оказался Евгений, виноваты не только обстоятельства или «злая» воля Петра, но и сам он, и несколько не меньше обстоятельств. Не случайно Пушкин заставляет нас сопоставить и задуматься над поведением царя и Евгения во время наводнения — кто из них карикатура кого?

О царе:

В тот грозный год
Покойный царь еще Россией
Со славой правил. На балкон
Печален, смутен вышел он
И молвил: «С божией стихией
Царям не совладеть». Он сел
И в думе скорбными очами
На злое бедствие смотрел.

И сразу же о Евгении:

На звере мраморном верхом,
Без шляпы, руки сжав крестом,
Сидел недвижимый, страшно бледный
Евгений. Он страшился, бедный,
Не за себя.

И оба они, скованные бездействием, — царь и Евгений — противопоставлены третьему, привставшему на стремях. А. С. Пушкин, деликатно конечно, непосредственно сопоставляет только позу Евгения и Медного всадника, оставляя нерешительного царя в покое:

И он, как будто околдован,
Как будто к мрамору прикован,
Сойти не может! Вкруг него
Вода и больше ничего!
И обращен к нему спиною
В неколебимой вышине,
Над возмущенною Невою
Стоит с простертою рукою
Кумир на бронзовом коне.

Этот третий стоит, готовый к действию, и властно призывает действовать, не поддаваться грозной стихии. Ведь никто и ничто не мешает пойти на риск. Поэт настойчиво повторяет свое *как будто*: ведь на деле не околдован ничем, кроме страха, и не прикован же, в самом деле... Это только кажется смятенному сознанию Евгения, в котором гнездится где-то нудящее чувство вины, что страшился не за себя, боялся осознать это. И Пушкин не зря наделяет Евгения жалостливо-саркастическим эпитетом «бедный», а затем почти совсем перестает называть его по имени, а пользуется перифразом «бедняк» и, наконец, «безумец бедный». Эпитет, как и перифраз, явно иронично снисходительные, а дважды повторенный эпитет — тем более. В том, что винить надо прежде всего себя, что решимость пришла слишком поздно, дальнейшие события сомнений не оставляют:

Но, торжеством победы полны,
Еще кипели злобно волны,
Как бы под ними тлел огонь,
Еще их пена покрывала,
И тяжело Нева дышала,
Как с битвы прибежавший конь.
Евгений смотрит: видит лодку;
Он к ней бежит, как на находку;
Он перевозчика зовет —
И перевозчик беззаботный
Его за гривенник охотно
Чрез волны страшные везет.

Да, как на находку, сбросив наконец груз страха, отчего сразу же стало чуть легче на душе, бежит Евгений к лодке, хотя опасность почти все та же. Как много говорит нам тире, простой знак препинания: Евгений ждет отказа, а перевозчик не колебался ни минуты, и явно не корысть была причиной его поведения. Может быть, и в самом деле бесшабашный, рискованный он человек, а может, заботу о собственной безопасности отставил он от себя, видя всеобщую беду? Лодки с дворов свозили, отмечает Пушкин, они были главным орудием волн, разбивая окна домов и застревая в оконных проемах. Найти лодку было — явно не иголку в стоге сена. Кто-кто, а перевозчик этот был бы соратником Петра, случись ему жить на сто лет ранее или Петру на такой же срок позднее. И закономерно для такого человека, как Евгений, его сумасшествие:

Но бедный, бедный мой Евгений...
Увы! Его смятенный ум
Против ужасных потрясений
Не устоял.

Правильно ли считать, что это сумасшествие — не вина, а беда его? Что именно так требует рассуждать гуманность? Однако такая гуманность понимает человека как обычную вещь, реифицирует его, ибо здесь обстоятельства правят бал, а не человек управляет обстоятельствами. Но именно последнее характеризует человека как такового. Пушкин согласен здесь с Кантом: «Ты должен, значит — ты можешь!» Ты должен подняться над обстоятельствами во что бы то ни стало, хоть обстоятельства угрожают тебе смертью. Сохранить в себе человека, сохранить свой разум и устранить враждебные обстоятельства можно только так. *Transcende te ipsum!*

Сумасшествие связано, как правило, с самообвинением человека, самоугрызениями его совести и неудовлетворенностью собой, с разрушением собственного Я, с крахом личности в человеке. Закономерно при этом сублимирование собственной вины вовне, перенесение ее на кого-то или что-то. Поэтому естествен бунт против Петра — Медного всадника, в котором для Евгения персонифицировались ужасные обстоятельства и крах его жизненных надежд:

Кругом подножия кумира
Безумец бедный обошел
И взоры дикие навел
На лик державца полумира.
Стеснилась грудь его. Чело
К решетке холодной прилегло,
Глаза подернулись туманом,
По сердцу пламень пробежал,
Вскипела кровь. Он мрачен стал
Пред горделивым истуканом
И, зубы стиснув, пальцы сжав,
Как обуянный силой черной,
«Добро, строитель чудотворный! —
Шепнул он, злобно задрожав, —
Ужо тебе!..» И вдруг стремглав
Бежать пустился. Показалось
Ему, что грозного царя,
Мгновенно гневом возгоря,
Лицо тихонько обращалось...

Эта черная сила, в которой видится проявление бунтарской пугачевской стихии, скрыта не в вышедшей из повиновения природе, не в неукротимой мощи Невы, а в душе самого героя, и вовсе она не дьявольская, а мелкобесовая, трусоватая, но от этого не менее страшная, заразительная, легко вспыхивающая в подобных душах, поставленных в подобные обстоятельства.

Приведенная выше сцена бунта, рожденного в душе самого, казалось бы, покорного существа империи, находится внешне в полном соответствии с той, что дана Мицкевичем в стихотворении «Петербург»:

На площади лишь пилигрим остался.
Зловещий взор как бы грозил домам.
Он сжал кулак и вдруг расхохотался,
И, повернувшись к царскому дворцу,
Он на груди скрестил безмолвно руки,
И молния скользнула по лицу.
Угрюмый взгляд был тайной полон муки
И ненависти.

Неестественность поведения, экзальтированность польского пилигрима бросается в глаза. И наполеоновская поза Евгения со скрещенными на груди руками отсылает нас к этому пилигриму. Мицкевичу она должна была, видимо, сказать: «Вспомни о судьбе Наполеона!». А о Евгении — что «нет, он — далеко не Наполеон, с его, Наполеона, безумной храбростью», хоть и сидит в наполеоновской позе. Однако не грозит Мицкевичеву пилигриму, в отличие от Евгения, тронуться умом, не грозит потому, что в страданиях Польши он сам себя не обвиняет, он видит и готов выступить против врага внешнего, с самим собою же он в ладу. Пушкин использовал те же самые слова, заимствуя их у польского поэта, но создал своего рода психоаналитический шедевр, от чтения которого становится не по себе. Вызов брошен, суд малого над великим произнесен, и горе великому, если не изменятся малые, если не содействовать самым энергичным образом этому изменению. Не должен человек чувствовать себя малым, быть малым и совершенно чуждым великому — по крайней мере, Петр этого не хотел. Таким видел Петра Пушкин.

Мережковский же, констатируя ранее две правды, выбирает для себя из них одну — правду Петра, заставляя и великого русского поэта полностью разделить убеждения с ним, с Дмитрием Мережковским. В последнем он очень ошибается. Он завершает свой разбор «Медного всадника» утверждением, что путь Пушкина и тот путь, по которому пошла вся русская литература, решительно разошлись: «...вещий бред безумца, слабый шепот его возмущенной совести уже не умолкнет, не будет заглушен "подобным грому грохотаньем", тяжелым топотом Медного всадника. Вся русская литература после Пушкина будет демократическим и галилейским восстанием на того гиганта, который "над бездною Россию вздернул на дыбы". Все великие русские писатели, не только явные мистики — Гоголь, Достоевский, Лев Толстой, но даже Тургенев и Гончаров — по наружности западники, по существу такие же враги культуры, — будут звать Россию прочь от единственного русского героя... вечно-одинокого исполина на обледенелой глыбе финского гранита, — будут звать назад — к материнскому лону русской земли, согретой русским солнцем, к смирению в Боге, к простоте сердца великого народа — пахаря, в уютную горницу старосветских помещиков, к дикому обрыву над родимой Волгой, к затишью дворянских гнезд, к серафической улыбке Идиота, к блаженному "неделанию" Ясной Поляны, — и все они, все до единого, быть может, сами того не зная, подхватят этот вызов малых великому, этот богохульный крик возмущившейся черни: "Добро, строитель чудотворный! Ужо тебе!" [10, с. 514]. От этого суждения Д.С. Мережковского явно веет ницшеанством, презрением к черни и демократии. Одно определение русской литературы как *галилейского восстания* на Петра и его дело, то есть на империю и имперскую культуру России, свидетельствует о его духовном тяготении к Фридриху Ницше. Пушкину никак в этом с ним не по пути: чванливый аристократизм, антидемократические убеждения были ему совершенно чужды. Царь Петр не представляет собой конечный идеал великого поэта и не менее великого мыслителя. Он не сумел преодолеть фундаментальных антиномий истории, а оказался их полнейшим воплощением: он нес в себе как тезис, так и антитезис этих противоречий. И Пушкин понимал, что консервация их приведет к неминуемому краху. Простых русских людей считать чернью он не мог и не считал, усматривая само свое предназначенье в выражении подлинных чаяний народных, до поры находящихся под спудом. Будить самосознание народа, подвигать людей к самостоятельному — и потому трудному — творению своей судьбы, предоставить свободу для этого — вот настоятельная задача каждого разумного человека. В приведенных строках Мережковского *вся* великая русская литература, в сути своей проникнутая пафосом всечеловечности и имеющая непреходящее универсальное мировое значение, обвиняется в славянофильском грехе тяги к патриархальщине, достаточно маргинальном на общем фоне. На деле классическая русская литература протестовала против умаления человека обстоятельствами, но особенно — самим собою, и призывала его не комкать и не прятать свои таланты, а гордо поднять голову, расправить грудь, мощно напрячь плечи и спину... Малый должен бы быть опорой великому, когда великий сам опирается на малых и действует, в конечном счете, в их интересах — только так народы творят великие исторические дела, утверждая себя в вечности. Разрыв между ними — между малыми и великими — чреват исчезновением из истории не только великих, но и самих малых.

Чтобы стояли град Петров и Россия неколебимо и вечно, не вправе любой русский человек отстраняться от этого святого дела окультуривания себя и мира вокруг, полностью возлагать его на власти, тем более — ему препятствовать. Но и власть и государство перестают существовать, если существуют сами для себя, если граждане для них — только средство. Их назначение — служить человеку, существование их может быть оправдано только этим. Примерно так предлагал Александр Сергеевич Пушкин решать те антиномии, что возникают между государством и личностью. И идеи Канта о самостоятельном и активном гражданине как основе правового государства, где монархом является только народ, обеспечивающий проведение моральной политики, ведущей к собственному процветанию и к вечному миру между народами, базирующемуся на всемирном федеративном союзе государств, были для великого поэта путеводными к будущему благоденствию России. Художественно-символический мир «Медного всадника» содержит в себе, помимо намеченного здесь, всю эту бездну смыслов. Такова уж природа эстетических идей. О них — эстетических идеях — кёнигсбергский мыслитель писал: «...под эстетической же идеей я понимаю то представление воображения, которое дает повод много думать, причем, однако, никакая определенная мысль, т.е. никакое *понятие*, не может быть адекватным ему и, следовательно, никакой язык не в состоянии полностью достигнуть его и сделать его понятным» [4, с. 330]. В свойственном А.С. Пушкину искусстве гармонической мысли и слова явственно различим вклад Иммануила Канта. Кант давал поэту мировоззренческие ориентиры.

Список литературы

1. Белый А. Искуситель // Белый А. Стихотворения. М., 1928.
2. Гаспаров Б.М. Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка. СПб., 1999.
3. Калинин Л.А. Теория гения в эстетике Канта и «Моцарт и Сальери» Пушкина // Кантовский сборник. Вып. 22. Калининград, 2001. С. 138–171.
4. Кант И. Критика способности суждения. 1790 // Кант И. Сочинения: в 6 т. М., 1963–1966. Т. 5. С. 161–529.
5. Кантор В.К. Русский европеец как явление культуры. М., 2001.
6. Ключевский В.О. Петр Великий среди своих сотрудников // Ключевский В.О. Соч.: в 9 т. М., 1990. Т. 8.
7. Кнабе Г. Эти пятьдесят лет // Вопросы литературы. 2007. №2. С. 143–160.
8. Коркунов Н.М. История философии права. СПб., 1898.
9. Куницын А.П. Право естественное. СПб., 1818. Ч. 1. С. 21 (цит. по: Каменский З.А. Кант в России (конец XVIII – первая четверть XIX в.) // Философия Канта и современность. М., 1974. С. 308.)
10. Мережковский Д.С. Пушкин // Д.С. Мережковский, Л. Толстой и Ф. Достоевский. Вечные спутники. М., 1995.
11. Мицкевич А. Избранные произведения: в 2 т. М., 1955.
12. Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: в 17 т. М., 1994.
13. Пушкин А.С. Полн. собр. соч. в одном томе. М., 2001.
14. Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии // Шпет Г.Г. Сочинения. М., 1989.
15. Эпштейн М. Язык бытия у Андрея Платонова // Вопросы литературы. 2006. №2. С. 146–164.

Об авторе

Калинников Леонард Александрович — д-р филос. наук, проф. кафедры философии исторического факультета Российского государственного университета имени Иммануила Канта, kant@kantiana.ru

About the Author

Prof. Leonard Kalinnikov, Department of Philosophy, Faculty of History, the Immanuel Kant State University of Russia, kant@kantiana.ru